



Дмитрий Васильевич Сеземан. Франция, Северная Бретань, примерно 2009 год

Пролог, или Рождённый на бегу

Подавляющее большинство людей, вне зависимости от расы, национальности, социального происхождения и прочих «установочных данных», проживает жизнь самую заурядную, то есть неизмеримо скучную, запоминающимися эпизодами не обременённую. И перед тем как покинуть этот мир, такие люди чаще всего бывают не в состоянии вспомнить о прожитых годах ничего «этакого» — никаких ярких событий, которые можно было бы охарактеризовать терминами «особенные», «драматические» или, того хуже, «невероятные» и «незабываемые». Однако из этого вовсе не следует, что среди сотен миллионов так называемых «обычных», иначе «простых» людей не встречаются порой люди настолько «не простые» и уж тем более «не обычные», что их знакомым, принадлежащим к помянутому большинству, остаётся только диву даваться — надо же, и за что только, интересно, такому с виду вполне заурядному человеку выпала такая особенная, странная и полная крутыми поворотами судьба?..

Дмитрий Васильевич Сеземан принадлежал именно к этой категории. О чём со всей определённой свидетельствует его чрезвычайно долгая и полная всевозможными приключениями жизнь. Рассказ о которой невозможно начать иначе, нежели с рассказа о том, что представляла собой женщина, которая выпустила его в этот мир.

Woman with the balls¹

Как и значительная часть женщин, населяющих планету Земля, Антонина Насонова терпеть не могла собственное имя. Ей казалось, что, назвав её этим простонародным, невыносимо пошлым именем — Тонька, родители совершили непростительную ошибку. Ошибку, от которой и происходят все нестроения в её юной жизни. Соответственно, в целях исправления — или, как сказали бы нынешние патентованные психоаналитики, «психокоррекции» — собственной судьбы барышня Насонова, едва только это оказалось в её власти, предприняла решительный шаг и отрезала от полученного ею при рождении имени первые четыре буквы. А следующую, пятую, сделала из строчной — прописной. После чего превратилась из Антонины в Нину, каковой Ниной и оставалась — для себя самой и своих родных и близких — до самого конца своей не особо длительной земной жизни. Однако это изменение не было зафиксировано в документах, имеющих юридическую силу, что вызывало проблемы всякий раз, когда Насоновой приходилось заполнять какие-либо анкеты или писать автобиографию. А это обстоятельство — вкупе с несколькими имевшимися у неё «по жизни» фамилиями — лишь способствовало усугублению неразберихи в документах и путанице в установлении деталей биографии этой весьма незаурядной женщины.

Однако обо всём по порядку.

Антонина Насонова родилась в 1894 году в Варшаве, где в ту пору жил и работал её отец — видный российский учёный-зоолог Николай Викторович Насонов (1855–1939). В семье профессора Варшавского университета, впоследствии столичного, петербургского жителя, ставшего действительным членом Санкт-Петербургской академии наук Насонова и его жены — Екатерины Александровны, урождённой Корниловой (1870–после 1941), было четверо детей — дочь и трое сыновей; соответственно, у Антонины было трое младших братьев. Все сыновья профессора Насонова пошли по стопам отца; став научными работниками, все трое внесли существенный вклад в советскую науку. При этом старший из братьев, Дмитрий, выбравший профессию биолога, был удостоен звания академика Академии медицинских наук СССР и Сталинской премии; его братья — Арсений и Всеволод стали докторами наук, причём младший, Всеволод, занимавшийся разработкой проблем капитального строительства, получил за свою работу сначала Сталинскую, а затем и Ленинскую премии. Их отец, академик Николай Насонов, при советской власти никаким репрессиям не подвергался и умер

¹ *Женщина с мужским характером (англ.).*

в Москве в феврале 1939 года в полнейшем почёте и глубочайшей старости — в возрасте восьмидесяти трёх лет. При этом до последних дней жизни Николай Викторович являлся директором специально «под него» созданной лаборатории в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии Академии наук СССР, где по мере сил занимался любимым делом, которому посвятил всю свою весьма долгую жизнь. Словом, семейство Насоновых вполне могло бы претендовать на звание «эталонная семья советской научно-технической интеллигенции», если бы такое звание в Советском Союзе было официально установлено и если бы в их семье не было человека, сущность которого точнее всего выражает англоязычная идиома *black sheep of the family*. Этой самой «чёрной овцой» в семье Насоновых стала их единственная дочь Антонина. Она же Нина.

В отличие от отца и братьев, Антонина Насонова ни малейшей склонности к так называемым «точным наукам» не проявляла, с детского возраста её влекла сфера гуманитарная — искусство, прежде всего живопись, и литература. Не получив никакого дальнейшего образования после базового гимназического, юная Антонина в 1915 году вышла замуж за филолога Василия Сеземана (1884–1963), от которого в октябре 1916 года родила своего первого ребёнка — сына, названного Алексеем. Брак этот оказался недолговечным, чему причиной стало не только традиционное несходство характеров супругов, но также и то, что протекал он на фоне социально-политического катаклизма, вошедшего в историю России XX века под названием «Мировая война и революция Семнадцатого года».

Пережив в течение шести лет замужества сначала невероятные бытовые тяготы Германской войны, хаос и распад государства после Февральской революции, а затем все «прелести» устроенного большевиками «военного коммунизма», Насонова поняла, что жить в такой чудовищной стране, как Советская Россия, она больше не в состоянии. И зимой 1921/1922 года бежала из Петрограда, где в ту пору находилась, в Финляндию — благо в те времена российско-финская граница проходила отнюдь не в тех местах, где она проходит сейчас, а гораздо ближе — возле курортного посёлка Териоки, ныне называющегося Зеленогорском, в 50-ти верстах от города. Впрочем, бежала Насонова отнюдь не на поезде, а пешком — ночью, в мороз и пургу, по льду Финского залива — поскольку только такой путь сводил к минимуму опасность попасть в засаду большевистской погранохраны, старательно отлавливавшей многочисленных беглецов из «кумачового рая» и передававшей их в Чеку. Это был поступок, требовавший от любого человека, вне зависимости от половой принадлежности, проявления твёрдости характера, решительности и силы воли. А если принять во внимание, что бежала Антонина не одна, а вместе с сыном Алёшей, которому шёл в ту пору седьмой год, сама же она находилась на последних неделях беременности, — то перед проявленным этой 27-летней женщиной мужеством можно только снять фигуральную шляпу и почтительно склонить голову.

«Интересное положение» Антонины было следствием романтических отношений с любовником — Александром Болдыревым (1896–1941), будущим совет-

ским филологом и переводчиком, а в ту пору ещё студентом Петроградского университета. Отношения Насоновой и Болдырева оказались непродолжительными, следствием же их явилась помянутая беременность, завершившаяся 6 февраля 1922 года. В этот день находившаяся уже в столице Финляндии — Гельсингфорсе Насонова родила второго ребёнка, также оказавшегося сыном. Мальчик был наречён Дмитрием и по решению матери получил отчество её в ту пору ещё формального мужа и его же фамилию. О том, что мужчина, чьи фамилию и отчество он носит, не имеет к его появлению на свет никакого отношения, младший сын Антонины Насоновой узнал лишь через много-много лет, когда его мать уже давно пребывала за пределами этого мира. Равно как и о том, кто является его подлинным отцом, информацию о котором мать от него скрывала до самого конца их совместной жизни. Ответить на вопрос, зачем Насонова это делала, не имея на сей счёт достоверных сведений, не представляется возможным. Женщинам вообще свойственно совершать поступки, не поддающиеся объяснению рациональной мужской логикой.

В незримой паутине

Не позднее середины 1924 года Антонина Насонова с сыновьями объявилась в Париже. Ей в ту пору было двадцать девять, Алёше шёл восьмой год, Диме — третий. На что — на какие деньги — Насонова в ту пору существовала — совершенно непонятно. Ясно одно: какие-то средства у неё имелись, в противном случае она была бы обречена на прозябание в тотальной эмигрантской нищете, что, принимая во внимание наличие у неё двух малолетних детей, которых необходимо было не только кормить, но и одевать и воспитывать, поставило бы её в положение поистине невыносимое. Кто-то ей несомненно материально помогал, хотя это вряд ли был бывший муж — от брачных обязательств перед Василием Сеземаном Насонова посчитала себя свободной сразу же после бегства из Советской России.

Разведёнка с двумя детьми — что может быть хуже в деле устройства личной жизни. То есть поиска мужчины, за которого можно удачно выйти замуж. При такой стартовой позиции шансы женщины не просто невелики — равны нулю. В самом деле, какой идиот соблазнится на такое «приданое», притом, что его обладательница сама уже приближается к категории дам «бальзаковского возраста»... Так рассуждают женщины, которые не верят в себя и свои силы. Насонова таких женщин презирала и считала, что расхожие обывательские представления о том, как должно быть устроено пресловутое «женское счастье», не имеют лично к ней никакого отношения. Что и не преминула продемонстрировать — к вящей зависти своих тогдашних эмигрантских приятельниц.

В 1926 году Антонина вышла замуж во второй раз. Её избранником стал 27-летний Николай Клепинин, белоэмигрант, происходивший из провинциальных российских дворян и появившийся на свет в 1899 году в Пятигорске —



Антонина Николаевна Насонова-Клепинина с бульдогом Билькой, Бошево, 1938 или 1939 годы

северокавказском городке, где полувеком ранее отставной майор Текинского полка Николай Мартынов помог действующему поручику Михаилу Лермонтову покинуть опустылевший тому мир. Помощь, как известно, была оказана посредством пули, мгновенно избавившей поручика от мерихлюндии, мизантропии и прочих многочисленных пороков, снедавших его истерзанную грубостью окружающей действительности тонкую поэтическую душу. Мог ли юный Николай Клепинин, во время развязанной большевиками гражданской войны выбравший сторону их противников, предполагать, что когда-то в далёком будущем его собственная судьба сложится схожим, но ещё более драматическим, чем у поручика Лермонтова, образом? Об этом можно только гадать, а гадание, как известно, является занятием настолько же вздорным, насколько и непродуктивным. Как бы то ни было, оказавшись в результате процесса, получившего в исторической литературе о гражданской вой-

не в России наименование «великого русского исхода», в эмиграции, Клепинин, вероятнее всего, расценивал своё положение как сложившееся далеко не самым лучшим образом. Что вполне естественным образом подтолкнуло его к стремлению изменить жизнь к лучшему. Стремление же это привело его туда, куда оно направило не только его одного — в организацию евразийцев, выступавших за налаживание сотрудничества с большевистским режимом в целях содействия его трансформации в «коммунизм с человеческим лицом».

Ныне хорошо известно — чем в действительности являлись эти многочисленные эмигрантские организации 1920-х годов, возникавшие во всех центрах «русского рассеяния» подобно мухаморам, появляющимся на хорошо унавоженной почве после тёплого летнего дождика. Сменовеховцы, евразийцы, младороссы — были не более чем структурными подразделениями Иностранного отдела ВЧК–ОГПУ. Отдел этот, созданный на Лубянке ещё в конце 1920 года, через несколько дней после падения последнего оплота Белой армии — Крымского полуострова, имел вполне конкретные цели. Главной из которых была задача всяче-

ски разлагать и развращать антибольшевистскую эмиграцию, вносить в её ряды неразбериху и хаос и склонять к признанию советской власти и сотрудничеству с ней. То есть, выражаясь максимально просто, всё это был один огромный гэбистский «Трест», действовавший в ещё только начавшем формироваться Русском Зарубежье, целью которого было полное и тотальное его — Русского Зарубежья — уничтожение. Соответственно, денег на оперативную работу (читай: вербовку агентуры) не жалели. Методы же при проведении вербовки использовались самые разнообразные — от банального подкупа до шантажа судьбой ближайших родственников эмигранта, оставшихся в России на подконтрольной большевиками территории.

Когда и каким образом — то есть при каких конкретно обстоятельствах — Николай Клепинин и его жена Антонина (которая после свадьбы взяла фамилию мужа, став из Насоновой — Клепининой) превратились в агентов Иностранного отдела ОГПУ — точно неизвестно. Известно со всеми деталями и подробностями это станет только после того, как после ликвидации ныне существующего в России режима будут выпотрошены пресловутые «лубянские закрома» и беспристрастные историки получат доступ ко всем нужным в этой работе архивно-следственным делам. В данный момент можно с определённой долей уверенности утверждать лишь то, что вовлечение супругов Клепининых в подрывную антиэмигрантскую деятельность было осуществлено при деятельном участии незабвенного Сергея Эфрона, супруга поэтессы Марины Цветаевой, которого судьба забросила в Париж в точно таком же, как и Николая Клепинина, статусе — то есть белогвардейского офицера-добровольца.

Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941, расстрелян) был человек страшный. Он — из числа тех, за чьей приятной, располагающей к себе внешностью кроется неимоверно чёрная, поистине сатанинская сущность. Не будет, пожалуй, заведомым преувеличением утверждение, что вся жуткая трагедия семейства Цветаевых-Эфронов, которая произошла с ними в конце 1930-х – начале 1940-х годов, лежит почти целиком на совести этого человека — если, конечно, применительно к Сергею Эфрону вообще можно оперировать такими понятиями, как «совесть». По сути, это был натуральный мелкий бес из разряда той нечисти, которую используют демоны более крупного калибра для борьбы с божественными силами, стремящимися оградить человечество от дьявольских соблазнов. И вся его деятельность в данном качестве — начиная от руководства организацией евразийцев в 1920-е годы и членства в пробольшевистском «Союзе возвращения на родину» в годы 1930-е — является не более чем весомым подтверждением данного факта. То же, что стало происходить не с одним только Эфроном, но со всеми этими людьми, включая, разумеется, и супругов Клепининых, в дальнейшем, после того как в 1937 году большевистский диктатор Иосиф Сталин развернул в Советском Союзе кампанию тотального террора, — вряд ли могло присниться кому-либо из них даже в самом кошмарном сне.

Труп на обочине

На рассвете 5 сентября 1937 года житель одного из пригородов Лозанны обнаружил на обочине шоссе труп неизвестного ему мужчины на вид лет сорока пяти со следами множества огнестрельных ранений. Прибывшие на место страшной находки сотрудники швейцарской полиции отвезли труп в морг, где из него извлекли 12 пуль — семь из туловища и пять из головы. Проведённая затем экспертиза установила, что мужчина был расстрелян из автоматического оружия практически в упор и что убийство было совершенно не на том месте, где случайным прохожим был обнаружен его труп — об этом свидетельствовали следы на земле, показывавшие, что к месту оставления тело тащили волоком, а также следы протекторов автомобиля, на котором, по всей видимости, убитый был туда привезён. Также имелись свидетельства того, что перед смертью мужчина пытался оказывать сопротивление — на эту мысль полицию наводил извлечённый из его окоченевших сжатых пальцев клочок человеческих волос. Как впоследствии оказалось, женских.

При первичном обследовании места преступления из кармана пиджака убитого был извлечён паспорт на имя Ганса Эберхарда, подданного Чехословацкой Республики. Однако человек этот не был ни Гансом, ни Эберхардом, ни тем более гражданином Чехословакии. Он носил совсем иное имя — Игнатий Рейсс, хотя и оно не имело к подлинному, полученному им при рождении, никакого отношения. В действительности его звали Натан Порецкий. При этом было ему отнюдь не сорок пять, на сколько он выглядел, а всего тридцать семь лет, гражданство у него было не чехословацкое, а советское, и служил он не где-нибудь в местном торгпредстве, а в парижской нелегальной резидентуре Иностранного отдела НКВД — под оперативными псевдонимами Макс и Людвиг. В Швейцарии же капитан госбезопасности Порецкий оказался не так давно — после того, как в июле того же 1937 года отказался последовать распоряжению о вызове в Москву «для получения нового задания» и перешёл на положение невозвращенца. Тогда же он выступил с публичным заявлением во французской прессе, в котором обвинил Сталина в развязывании массового террора против «подлинных коммунистов», и объявил, что намерен посвятить свою жизнь борьбе со сталинской тиранией. С этого момента дальнейшая судьба агента Людвига была решена.

Немедленно сформированная по приказу Сталина оперативная группа из «отдела специальных операций» НКВД выехала из Москвы в Париж, чтобы ликвидировать подлого предателя. Рейсс, хорошо отдававший себе отчёт в том, сколько теперь стоит его собственная жизнь и жизнь его жены и ребёнка, находившихся во Франции вместе с ним, немедленно после своих громких заявлений исчез из Парижа и попытался спрятаться в глухой французской деревне, надеясь, что сталинские ликвидаторы не сумеют его найти. В том, что охота на него уже началась, Рейсс не сомневался. Поэтому, проведя несколько недель во француз-

ской провинции, решил перебраться в соседнюю Швейцарию, рассчитывая такими зигзагами сбить преследователей со следа.

Между тем приехавшие в Париж гэбисты использовали имеющиеся у них возможности для того, чтобы как можно быстрее обнаружить предателя. Для этого была задействована вся наличная местная агентура, включая, разумеется, Сергея Эфрона и супругов Клепининых. Одновременно по следу Рейсса отправили агентуру из других стран — в частности, Италии, вполне резонно предполагая, что предатель может попробовать попытаться склонить к измене кого-либо из агентов, которых он хорошо знал лично и в ком мог надеяться найти для себя единомышленников. То есть было решено ловить Рейсса как щуку на живца.

В качестве мелкого окуня, насаженного на подведённый к морде щуки крючок, была использована немка Гертруда Шильдбах — агентесса Иностранного отдела НКВД, действовавшая в Риме. Её перебросили в Швейцарию с заданием искать Рейсса и в случае обнаружения любым способом выманить из норы, в которую тот забился, — хотя бы для этого ей и потребуется прикинуться потенциальной изменницей и ругать товарища Сталина нехорошими словами. Шильдбах успешно справилась с полученным заданием — свидетельством чему стал клочок волос, в последние мгновения жизни выданный Рейссом из её причёски в безуспешной попытке не дать себя похитить бывшим коллегам по службе. Следствием оказанного сопротивления и стали 12 автоматных пуль, извлечённые швейцарскими судмедэкспертами из его окоченевшего за ночь на обочине дороги труп.

Ныне хорошо известны имена убийц Игнатия Рейсса: одним был старший лейтенант ГБ болгарин Борис Атанасов, после перехода в советское подданство изменивший фамилию на более подходящую для русскоязычного уха — Афанасьев; другим — международный авантюрист непонятного происхождения Роллан Аббиа, известный также как Франсуа Росси и имевший ещё с полдюжины фальшивых паспортов на разные имена. Этот деятель вошёл в историю советского шпионажа и диверсий на Западе под именем Владимир Правдин — паспорт гражданина СССР на это имя он получил в том же 1937 году в качестве благодарности Сталина за блестяще выполненное задание. Вместе с паспортом террорист Аббиа получил — как и его подельник Атанасов-Афанасьев — и орден Боевого Красного Знамени. Товарищ Сталин умел проявлять щедрость по отношению к тем, кто хорошо на него трудился.

Швейцарская полиция быстро установила личности пособников убийц и, поскольку непосредственные исполнители сумели сбежать из Лозанны и убраться в Москву до того, как за ними пришли с ордером, ей ничего не оставалось, как только передать полученные в ходе следствия данные своим французским коллегам — в надежде, что кого-нибудь из тех, кто ей нужен, удастся отловить в местах их постоянного обитания. Однако французская полиция проявила в этом деле абсолютный непрофессионализм, следствием чего стало поголовное исчезновение пособников убийц Рейсса из Парижа и его окрестностей.

Первым растворился в пространстве Сергей Эфрон. Допрошенная в полицейском комиссариате поэтесса Цветаева, которую следователь спрашивал, знает ли она, куда пропал её муж, или лопотала нечто совершенно бессвязное, или принималась читать наизусть стихи Пушкина, не имевшие к сути заданного ей вопроса никакого отношения. Не сумев оценить оригинальность рифм неведомого ему русского стихотворца и расценив поведение допрашиваемой как проявление психического нездоровья, следователь был вынужден махнуть на Цветаеву рукой и отпустить её восвояси.

А когда хватились Клепининых — выяснилось, что эта семья испарилась вообще в полном составе, то есть в количестве четырёх человек: собственно супругов Николая и Антонины и их детей — пятнадцатилетнего Дмитрия и десятилетней Софьи, дочери Антонины Николаевны от Николая Андреевича, родившейся в Париже в апреле 1927 года. И куда именно они исчезли — никто не знал и сообщить полиции не мог.

Второй сорт как символ честной жизни

В то время, когда парижские полицейские с недоумением чесали в затылках, пытаясь понять, куда один за другим начали исчезать русские эмигранты, подозреваемые в сотрудничестве с советскими спецслужбами, поезд, в одном из вагонов которого находилось семейство Клепининых, приближался к железнодорожной станции Негорелое. Название этой крошечной станции, находящейся на перегоне Минск — Барановичи в 50-ти километрах западнее столицы Белорусской ССР, в те времена было известно едва ли не каждому хотя бы минимально образованному жителю Советского Союза. Известно же оно было как место пограничного перехода на тогдашней советско-польской границе, за которым, собственно, и начиналась «проклятая буржуазная Европа».

Настроение в купе, где ехали Клепинины, было приподнятое. Николай Андреевич и Антонина Николаевна горели желанием как можно скорее увидеть собственными глазами счастливую жизнь, которой так кичились перед нищими эмигрантами встречавшиеся с ними в Париже представители первого в мире пролетарского государства. Что касается пятнадцатилетнего Дмитрия, то он был воспитан матерью и отчимом как натуральный компатриот, до бегства вместе с ними из Парижа состоял в молодёжной организации Французской коммунистической партии, то есть в местном комсомоле, и мечтал как можно скорее очутиться в «кумачовом раю на земле», образ которого сложился у него в голове под воздействием многолетней просоветской пропаганды. Его сводная сестрёнка, десятилетняя Соня, была слишком мала для того, чтобы иметь собственное аргументированное мнение о необходимости переезда из Парижа в Советскую Россию и, как всякий несовершеннолетний ребёнок, была обязана подчиниться решению родителей. Но и она, так же как и все прочие Клепинины, горела желанием увидеть своего старшего брата Алёшу, который с нетерпением ждал их приезда в Москве.



Николай Андреевич Клепинин-Львов, 1939 год. Фото из архива НКВД

Дело было в том, что двадцатилетний Алексей Сеземан, воспитанный матерью и её вторым мужем в таком же просоветском духе, как и его младший сводный брат (которого он считал братом родным), ещё годом ранее, в 1936-м, по собственному желанию переехал из Франции в Советский Союз, пополнив собой ряды «возвращенцев» — эмигрантов, добровольно репатриировавшихся на историческую родину. Жизнь, в которой Алексей оказался после привычной ему по предшествующим годам, оказалась, конечно, отнюдь не сахарной, однако он не унывал и верил в то, что всё можно изменить к лучшему — надо только работать, работать и ещё раз работать и не обращать внимания на временные экономические трудности. Так, во всяком случае, явствовало из приходивших от него в Париж писем.

Четыре десятилетия спустя, вспоминая свои первые впечатления от пребывания в «кумачовом раю», Дмитрий Сеземан рассказывал:

«На станции Негорелое <...> мы пересели в советский вагон. <...> Мы с матерью вошли в купе, устроились, и на откидном столике у окна я увидел пепельницу, обыкновенную пепельницу, которая теперь называется “пластмассовой”, а тогда называлась “эбонитовой”. И на этой пепельнице было написано — “завод такой-то, второй сорт”. Я пришёл в неописуемый восторг и сказал матери: “Вот видишь — вот страна, где не врут! Ну где ты видала, чтобы, скажем, во Франции на чём-нибудь было написано ‘второй сорт’? А эти люди не боятся — второй сорт, так второй сорт. Они так и пишут — ‘второй сорт!’” И в это мгновение я понял, что я не ошибся, что действительно моя мечта сбылась, и всё так хорошо, как быть не может. Меня совершенно не могли смутить довольно суровые пограничники с собаками, окружавшие вагон. Это мне всё было неважно, это было понят-

но — кругом были враги, [так] надо было... Но вот пепельница с этим “вторым сортом” была для меня первым неопровержимым доказательством того, что я был прав».

Историю про эбонитовую пепельницу второго сорта Дмитрий Васильевич рассказывал в своих многочисленных интервью неоднократно — настолько сильно она запала ему в память. А ещё он очень любил, говоря о переезде своей семьи в Советский Союз в 1937 году, вспоминать еврейский анекдот — тот самый, в котором один из персонажей, согласившийся под давлением КГБ вступить в переписку со своим много лет назад эмигрировавшим из СССР и живущим в Америке братом, из которого «органы» вознамерились выдоить нажитые в мире чистогана миллионы, начинает под диктовку гэбиста письмо словами: «Дорогой Хаим! Ты не поверишь, но наконец-то я нашёл время и место, чтобы написать тебе это письмо...».

Дача Краевского

Представьте, что вследствие перемещения во времени и пространстве вы оказались в Москве образца лета или ранней осени 1939 года.

Если вы придёте на Ярославский вокзал и сядете в пригородный поезд, следующий по Северной железной дороге в направлении города, именем которого он назван, то через четверть часа после отправления окажетесь на станции посёлка Мытищи, что находится в восемнадцати километрах от вокзала. А если после Мытищ поезд поедет не прямо, через Пушкино и Софрино в сторону городка Александрова, а свернёт направо, на боковую, тупиковую ветку, к посёлку Монино, то ещё минут через пять-шесть и семь километров пути вы будете на станции, называющейся «посёлок Первомайский». Новое название, данное посёлку большевиками, однако, не прижилось, и все местные обитатели, да и подавляющее большинство приезжих, столичных жителей продолжали называть и саму станцию, и прилегающий к ней посёлок по-прежнему — так, как эта местность называлась «при старом режиме»: Болшево.

В непосредственной близости от железнодорожной платформы находится ещё один посёлок, носящий несколько странноватое для непривычного к таким дурацким названиям уха имя — «Новый Быт». Он представляет собой большой участок леса, огороженного высоким зелёного цвета забором с глухими воротами, на которых нет никакой таблички — ни с названием улицы, ни с номером дома. За забором, в глубине участка, среди высоченных мачтовых сосен, можно разглядеть — если смотреть издали, поскольку подходить к забору близко не рекомендуется — низкое приземистое строение, обшитое зелёного же цвета вагонкой и вытянутое фасадом параллельно линии железной дороги. Это — та самая известная всем литературоведам, изучающим жизнь и творчество поэтессы Марины Цветаевой болшевская дача НКВД, на которой «возвращенка» Цветаева прожила первые без малого пять месяцев после своего приезда с Советский



Сергей Яковлевич Эфрон-Андреев, 1939 год. Фото из архива НКВД

Союз из Франции — хронологически с 19 июня по 10 ноября 1939 года. Она же — дача «Экспортлеса». Она же — дача Краевского.

Ещё два с небольшим года назад дача, построенная в начале 1930-х, принадлежала Борису Краевскому — большевистскому чинуше, высокопоставленному сотруднику Наркомата лесной промышленности СССР. Как гласит дошедшая до наших времён из тех дней устойчивая легенда, дача была

предоставлена Краевскому по личному распоряжению наркома внешней торговли СССР Аркадия Розенгольца — за особые заслуги в налаживании советской торговли с капиталистическими странами. По-видимому, заслуги товарища Краевского состояли в том, что ему при подписании контрактов на поставки в страны Европы советской древесины удавалось выколачивать из «проклятых империалистов» максимально возможную выгоду в свободно конвертируемой валюте — той самой, большая часть которой затем шла на осуществление операции «Трест», а на меньшую строились такие вот подмосковные дачки. О том, что каждый отправленный за границу ствол лиственницы или кедра обрызган кровью сотен тысяч безгласных советских рабов — заключённых Гулага — такие, как Краевский и уж тем паче Розенголец, никогда не задумывались. Ровно до тех пор, пока сами не оказывались сначала в тюремных камерах на Лубянке и в Лефортове, а затем на расстрельных полигонах в Бутове и Коммунарке.

За Борисом Краевским гэбисты пришли 28 мая 1937 года. После перемещения с болшевской дачи в лубянскую камеру чиновник «Экспортлеса» прошёл все круги следственного ада, оговорил всех своих знакомых и сослуживцев, кого ему было велено оговорить, включая, разумеется, и пожаловавшего его дачей наркома Розенгольца, и год спустя, 10 мая 1938-го, получил свою заслуженную пулю в голову. Судьба Аркадия Розенгольца была в точности такой же, с той лишь разницей, что арестован он был четыре месяца спустя после Краевского, а казнён на два месяца раньше. Дача же в посёлке Новый Быт перешла на баланс Административно-хозяйственного управления центрального аппарата НКВД и стала использоваться — как и две другие, поблизости выстроенные однотипные дачи, также принудительно освобождённые от их прежних насельников — для размещения своей действующей агентуры и «возвращенцев», подобных супругам

Клепининым и Сергеем Эфрону. При этом Клепинины проживали на большевской даче под конспиративными фамилиями Львовы, а Эфрон — под точно такой же фамилией Андреев. Впоследствии обе эти фальшивые фамилии будут фигурировать и в их следственных делах наравне с подлинными — через дефисы: Клепинин-Львов и Эфрон-Андреев. То же самое произойдёт и в приговорах.

Катастрофа

История последней трагической одиссеи Марины Цветаевой, начавшейся в вагоне поезда на Северном вокзале Парижа 12 июня 1939 года и завершившаяся в сених убогой избы в городке Елабуга 31 августа 1941-го, ныне хорошо известна. Она описана в десятках, если не сотнях статей и книг различными исследователями-цветаеоведами, как патентованными, так и самодеятельными, так что в очередной раз сколько-нибудь подробно пересказывать эту трагическую хронику никакой надобности нет. Тем более что не судьба поэтессы Цветаевой является темой данного эссе. То же самое относится и к истории взаимоотношений между сыном Марины Цветаевой Георгием (домашнее прозвище — Мур) и сыном Антонины Клепининой Дмитрием. Представление о том, какими они, эти отношения, были, может составить каждый читатель дневников Георгия Эфрона 1940–1943 годов, в которых Дмитрий Сеземан в том или ином контексте упоминается более двухсот раз, и всякий раз — с эпитетами вроде «мой единственный друг» и «мой лучший друг Митька».

Катастрофа, разразившаяся в семье Цветаевой и Эфрона на исходе жаркого лета 1939 года с арестом сначала их старшей дочери Ариадны, также пробольшевиcтски настроенной эмигрантки-«возвращенки» образца 1937 года, а затем, спустя полтора месяца, и самого Сергея Эфрона, семью Клепининых накрыла сразу — мгновенно, в один день, точнее — в одну ночь. Ночь эта пришлась — вероятно, по злой иронии судьбы — на 7 ноября 1939-го, когда все трудящиеся Советского Союза готовились торжественно (иначе не бывало) отмечать 22-ю годовщину узурпации власти в России партией большевиков. То есть на привычном советском подданном новоязе — «годовщину Великой Октябрьской социалистической революции». В эту ночь одновременно были арестованы Николай и Антонина Клепинины и Алексей Сеземан. Николая Андреевича гэбисты забрали на даче в Болшеве, где помимо него в тот момент находились только Марина Цветаева с сыном; Антонину Николаевну — в Москве, в квартире её матери, недавно овдовевшей супруги академика Насонова, у которой та гостила вместе с дочерью Софьей; за Алексеем Сеземаном пришли в московскую квартиру его тёщи, где он в тот момент находился вместе со своей юной женой Ириной Горошевской и их полгода назад родившимся ребёнком — сыном Николаем.

Единственным из взрослых членов семьи Клепининых, кто в тот момент ареста избежал, был семнадцатилетний Дмитрий Сеземан. Который узнал о том, что произошло с его матерью, отчимом и старшим братом, от кого-то из посети-

телей, явившихся в больницу, где он проходил лечение от недавно начавшегося туберкулёза лёгких — двухлетнее пребывание в советском «кумачовом раю» не прошло для юного парижанина без последствий. С этого момента ни матери, ни отчима Дмитрий больше никогда живыми не видел, что же касается брата, то с Алексеем ему привелось встретиться только через шесть лет, уже после Второй мировой войны. В одночасье оставшуюся без родителей двенадцатилетнюю Соню взяла на воспитание бабка, Екатерина Александровна Насонова.

После ареста супруги Николай и Антонина Клепинины были обвинены в участии в антисоветской контрреволюционной террористической организации и в шпионаже — в пользу, разумеется, империалистической Франции. Алексей Сеземан был обвинён в пособничестве своим родителям в проведении ими подрывной деятельности, а заодно в антисоветской агитации и пропаганде. Ему единственному из семьи невероятно повезло — в 1940 году старший сын Антонины Клепининой был осуждён на 8 лет заключения в концлагерях и отправился по этапу на Воркуту — прокладывать заполярную железную дорогу.

Судьба супругов Клепининых после ареста сложилась гораздо хуже. Их имена были включены в сталинский расстрельный список, датированный 6 сентября 1940 года (№ 189 и № 190 соответственно в списке из 472 имён и фамилий «участников антисоветских, шпионско-заговорщических организаций, подлежащих преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР»). Сталин список подписал, не сделав в нём ни единой пометки и ни одного имени не вычеркнув. То есть одним движением руки отправил на смерть ещё без малого полтысячи человек. Заниматься таким делом ему было не в новинку — за 17 месяцев, с августа 1937-го по декабрь 1938-го, в течение которых в Советском Союзе бушевала кровавая вакханалия Большого террора, этот достойный ученик Ленина отправил таким макаром — росчерком карандаша — на тот свет не менее 40 000 (прописью: сорока тысяч) человек. Разумеется, в числе завизированных товарищем Сталиным и его ближайшими приспешниками — Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем и прочими бандитами — расстрельных списках присутствовало изрядное количество персонажей, которые могли бы сами потягаться с ними в людоедстве; это в первую очередь касается руководящих работников того же НКВД — от незабвенного «железного наркома» Николая Ежова и его правой руки Михаила Фриновского (по кличке Костолом) до какого-нибудь Николаева-Журида (по кличке Шкура) или Минаева-Цикановского (по кличке Цекановский). Но в тех же расстрельных списках подавляющее большинство составляли люди, вся вина которых состояла лишь в том, что этим людоедам хотелось есть, а товарищ Сталин из них всех был самым прожорливым.

Однако, подписав поданный ему расстрельный список 6 сентября 1940-го, большевистский диктатор по какой-то причине проявил невиданное милосердие (которое сам он неизменно именовал «поповским словом») — и не стал настаивать на немедленном уничтожении поименованных в нём жертв. Соответственно, казнили фигурантов из этого списка на протяжении последующего года

с лишним — мелкими партиями, по несколько человек в месяц. Торопиться лубяньским палачам было некуда — Большой террор миновал, количество арестов стремительно пошло на убыль, тюремные камеры заметно опустели, расстрельный конвейер замедлил скорость, так что спешить стало незачем.

До Николая и Антонины Клепининых очередь дошла только летом 1941 года. Тогда, 6 июля (войска Вермахта уже подходили к Смоленску) состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором они и были в числе нескольких других проходивших с ними по одному «делу» — Эмилией Литаяэр, Павлом Толстым и, конечно же, Сергеем Эфроном — формально приговорены к смертной казни. Приговорённым было предоставлено право подать ходатайство о помиловании — в адрес Президиума Верховного Совета СССР. Клепинины этой возможностью воспользовались. Однако «инстанция», в которую они обратились, оставила их прошения без удовлетворения. 28 июля (Смоленск уже пал, шли ожесточённые бои на ближних подступах к Киеву и на дальних — к Ленинграду) Николай Андреевич Клепинин-Львов и Антонина Николаевна Клепинина-Львова, урождённая Насонова, были казнены на расстрельном полигоне в Коммунарке.

Общеизвестная поговорка о супружеском счастье гласит: «Они жили долго и счастливо и умерли в один день». Сложно сказать, насколько счастливы были супруги Клепинины за пятнадцать лет своего брака, в последние годы которого были насильственно разлучены, но то, что умерли они именно в один день, вероятно, с разницей всего в несколько минут, если не секунд, — есть медицинский факт, который невозможно ни подвергнуть сомнению, ни опровергнуть.

Доходяга из Гулага

В 1940 году, по окончании средней школы, Дмитрий Сеземан поступил в Московский Институт философии, литературы и истории (МИФЛИ), намереваясь стать филологом и переводчиком с французского. Однако уже в начале следующего, 1941 года, это учебное заведение было сочтено Сталиным более не нужным. Институт философии был ликвидирован, его студенты продолжили обучение на филологическом и иных факультетах Московского университета.

После начала в июне того же года Германо-советской войны Московский университет был эвакуирован в Среднюю Азию, в Ашхабад. Там же вместе со всеми студентами и преподавателями оказался и студент второго курса Дмитрий Сеземан.

Весной 1943 года произошло удивительное событие: после отбытия трёх с половиной лет из выписанных ему Особым совещанием при НКВД восьми был неожиданно освобождён из Гулага Алексей Сеземан. Более того — вчерашнему «контрику» было позволено жить в Москве и предложена работа, о которой до того, трудясь на лесозаготовках, он не мог и мечтать: поступить во французскую редакцию иновещания Всесоюзного радиокомитета при СНК СССР. Разумеется, Алексей Сеземан предложение принял, расценив то, как в одночасье волшебным образом изменилась его несчастная судьба, как натуральное чудо.

Однако, как гласит общеизвестная присказка, если из одного из сообщающихся сосудов внезапно ubyло, то в другой в тот же момент прибыло. И наоборот. В судьбах братьев Сеземанов верность этого утверждения подтвердилась самым наглядным образом: едва только из заключения вышел Алексей, как туда сразу же угодил Дмитрий.

Младший Сеземан был арестован 14 мая 1943 года в Свердловске, где он тогда находился, ожидая разрешения вернуться для продолжения учёбы в Москву. После ареста гэбисты, не особо заморачиваясь, обвинили Дмитрия в «проведении антисоветской агитации и пропаганды» — это был стандартный, так сказать, базовый набор, под который можно было подвести что угодно и кого угодно. После семи с лишним месяцев, проведённых в тюрьме Свердловского областного управления НКВД, 5 января 1944 года Дмитрий Сеземан был осуждён на 5 лет концлагерей. Такой приговор по тогдашним понятиям означал, что в его «деле» нет вообще никакого «состава преступления» и что арестован и посажен он был «за просто так» — «за длинный язык», как это называлось на лагерном жаргоне.

Полученный от Особого совещания «детский» срок Дмитрий Сеземан отбывал сначала в концлагере в Сибири, затем в Архангельской области. Месяцы, проведённые перед этим в тюрьме, где жизнь никогда заведомым курортом не является, а во время войны уж и вовсе на неё становится не похожа, привели к резкому обострению у него казавшегося залеченным туберкулёза лёгких. Как следствие, попав в лагерь, где он был вынужден заниматься тяжёлым физическим трудом, Сеземан начал стремительно терять силы и вскоре превратился в того, кого на том же лагерном жаргоне именуют термином «доходяга», то есть живой труп, до превращения которого в труп настоящий остаются считанные недели, если не дни.

Двадцатидвухлетний Сеземан хорошо понимал, что с ним происходит, и готовился к смерти, не видя никакой возможности её избежать. Однако случилось ещё одно чудо — точно такое же, как и с его старшим братом Алексеем: Дмитрий был «сактирован», то есть на основании заключения медицинской комиссии признан нетрудоспособным инвалидом, дальнейшее пребывание которого в заключении нецелесообразно по причине того, что работать он не в состоянии, а кормить его надо. От таких гулагерное начальство в те времена избавлялось простейшим образом — путём досрочного освобождения из заключения без снятия судимости, чтобы «доходяги» подышали формально на воле и не портили начальству Гулага статистику по смертности в местах лишения свободы.

Смерти вопреки

Когда Дмитрий Сеземан вышел за ворота лагеря, он не сомневался в том, что дни его сочтены. Однако вслед за первым чудом произошло второе — он не умер, а продолжал жить несмотря ни на что. И туберкулёз каким-то совершенно невероятным образом стал прекращаться сам собой. Жил Сеземан в тот момент в го-

родке Александрове Московской области, хорошо известном каждому бывшему лагернику месте, находящемуся за пределами стокилометрового радиуса вокруг столицы СССР, внутри которого обитать таким, как они, было строжайше запрещено. Соответственно, бывшие зэки, которые по каким-либо соображениям старались держаться как можно ближе к Москве, вынуждены были селиться в Александрове и ему подобных городках за пределами «стовёрстной зоны»: Коломне, Кашире, Можайске и Калининe, как в ту пору именовалась большевиками Тверь.

Однако дальнейшее существование представлялось Сеземану в весьма мрачных тонах. Перспектив перед ним не было никаких. Главным его достижением было то, что он до сих пор всё ещё жив, хотя раз сто мог бы уже умереть. Но это был его единственный капитал, из которого не было возможности извлечь какие-либо проценты кроме тех, которые у него уже имелись. Дмитрий понял, что надо совершить какой-то поступок, который поможет ему вырваться из нынешнего статуса — безработного инвалида с судимостью, обречённого на прозябание на дне общества в вечной нищете. И, явившись в александровский военкомат, подал заявление с просьбой направить его в действующую армию. То есть на фронт. Когда военком ознакомился с заполненной Сеземаном анкетой, в которой тот написал о себе всё, как есть, он брезгливо бросил листок добровольцу и сказал: «Иди отсюда. Такие, как ты, нам и даром не нужны. Ещё в плен захочешь сдаться, по твоей роже сразу видно...»

Смертельно обиженный таким хамством Сеземан немедля после разговора с не в меру подозрительным военкомом написал письмо Сталину, в котором просил разобраться с тем, как к нему отнёсся бездушный бюрократ, и позволить ему «кровью искупить свою вину перед нашей советской Родиной». Последняя фраза была стандартной формой выражения лояльности советской власти, так что она никоим образом не свидетельствовала о том, что недавний зэк Сеземан действительно ощущал свою перед нею вину и тем более стремился смыть несуществующие прегрешения собственной кровью. Просто надо было так писать — и он так написал.

Вслед за первыми двумя чудесами произошло и ещё одно, третье: товарищ Сталин просьбе Сеземана внял и распорядился призвать недавнего «антисоветчика» в армию. И в конце 1944 года Дмитрий надел на себя защитного цвета форму с солдатскими погонами.

«Не имей сто рублей...»

Судьба хранила этого человека не только в тюрьме, но и на войне. Тем более что повоевать по-настоящему Дмитрию Сеземану не привелось: когда он попал в Красную армию, война уже быстро шла к концу и до её завершения оставалось меньше полугода. После того, как Третий Рейх был повержен и разделён между победителями по антинацистской коалиции на четыре оккупационных зоны, в их армиях начался естественный процесс — демобилизации, поскольку воевать

больше было не с кем. Как следствие, в октябре победного 1945 года Дмитрий Сеземан освободился от армейской службы и приехал в Москву. Приехал, несмотря на то, что по тогдашним законам продолжал оставаться гражданином второго сорта — то есть из-за имеющейся непогашенной судимости был подвергнут ограничениям на право выбора места жительства.

И здесь в его судьбе снова в полной мере проявилось то, что можно назвать и фантастическим везением, и натуральным чудом. Сеземан сумел не только получить вождевленную московскую прописку, но и работу, о которой ещё недавно не мог и мечтать. Первый вопрос был решён посредством удачной женитьбы, второй — благодаря собственным способностям и благоприятному стечению обстоятельств.

В хрущёвские времена на весь Советский Союз стала известна переименованная русская народная поговорка — про то, что гораздо лучше иметь сто друзей, чем сто рублей. В советском варианте она звучала как «не имей сто рублей, а женись, как Аджубей». Имелся в виду, разумеется, хрущёвский зятёк — нахрапистый комсомольский функционер и журналист Алексей Аджубей, который благодаря женитьбе на дочери правителя Советского Союза сделал настолько фантастическую карьеру, что число завистников Аджубея — таких же нахрапистых, но гораздо менее удачливых комсомольцев и тому подобной публики — исчислялось, вероятно, шестизначной цифрой.

Поговорка эта, хотя и имела явно выраженный саркастический оттенок, была, тем не менее, применима не к одному только в ней упомянутому деятелю. Дмитрий Сеземан вполне мог утверждать, что женился не хуже Аджубея — хотя и на существенно более низком по сравнению с тем уровне. Его женой стала актриса Фаина Хмара (1921–?), дочь актёров Александра Хмары и Фаины Шевченко — той самой, что в далёком 1915 году была изображена художником Кустодиевым на его получившем широчайшую известность полотне «Русская красавица». К моменту, когда её зятем стал недавний солдат и бывший зэк Митька Сеземан (как несколько фамильярно именовала она мужа своей дочери), Фаина Васильевна носила титул народной артистки Советского Союза и заодно являлась лауреаткой аж двух Сталинских премий. Так что умудрившегося попасть в такую семью Сеземана, у которого на такое везение, как казалось его тогдашним московским приятелям, изначально не могло быть ни единого шанса, отныне с полным основанием можно было называть «блатным» — разумеется, не в криминальном, а в ином, получившем широчайшее распространение в застойные времена, значении этого термина.

Столь явное изменение социального статуса не могло не сказаться самым положительным образом также и на карьере недавнего фронтовика. При содействии могущественной тётки Дмитрий Сеземан начал медленное, но уверенное восхождение по карьерной лестнице. В 1940–1960-е годы на протяжении длительного времени он служил во французской редакции Московского международного радиовещания (в этом ему оказал протекцию старший брат Алексей), затем

в редакции пропагандистского журнала «Новое время». Верхом карьеры Дмитрия Сеземана стало участие — после состоявшейся в 1960 году формальной реабилитации по приговору 1944 года — в качестве переводчика в межгосударственных переговорах, в том числе с участием правителя СССР Никиты Хрущёва. Так что не по адресу одного только Алексея Аджубея могли цыкать зубом завистливые, но куда менее удачливые юные карьеристы Советского Союза.

Сколько волка ни корми...

Нет, в данном случае имеется в виду отнюдь не фривольное окончание этой общеизвестной поговорки, в котором упоминается слон, а основное, где фигурирует лес — тот, в который волк, несмотря на хорошую кормёжку в неволе, постоянно косит глазом.

Поговорка означает, что тот, кому привычен полученный от рождения образ жизни, никогда полностью не смирится с другим, пусть даже и более выгодным материально, но насильно, против его воли, ему навязанным.

К началу 1970-х годов Дмитрий Сеземан понял, что достиг того карьерного максимума, на который он был способен, и что после грядущего пятидесятилетия его дальнейшая судьба просматривается со всей ясностью. Сначала — стагнация, жизнь по инерции, затем — наступающая старость, болезни и все прочие сопутствующие старости неприятности и в финале — неизбежная смерть в стране, которую он давным-давно воспринимал безо всяких юношеских иллюзий и был уверен в том, что на его веку никаких положительных изменений в ней не произойдёт. При этом диссидентом Сеземан не был, никаких воззваний не сочинял, обличительных петиций не подписывал, и, хотя и обладал в этих сферах обширными знакомствами, прямого участия в диссидентской деятельности никогда не принимал. Поскольку считал её бессмысленной, то есть бесполезной. Сам же с каждым годом всё больше обдумывал намерение сбежать — туда, где прошло его детство и оборвалась юность.

В начале 1970-х, в пору случившегося между странами коммунистического блока и «свободного мира» кратковременного перемирия, вошедшего в историю XX века под названиями «детант» и «разрядка международной напряжённости», Дмитрий Сеземан несколько раз — не то два, не то три — подавал в московский ОВИР прошения о поездке во Францию по туристической визе. Ему соответственно не то дважды, не то трижды отказывали. Мотивация отказа была примерно такой: «Вы куда это намылились?» — грозно нахмутив брови, вопрошала Сеземана старший инспектор ОВИРА Маргарита Кошелева, известная всем столичным евреям-«отказникам» под кличкой Марго Кох (по аналогии с нацистской преступницей, носившей имя Эльза). «В Париж», — потупившись, с высоты своего огромного роста смиренно отвечал Дмитрий Васильевич. «А вам разве неизвестно, что носителям государственной тайны в такие места поездки заказаны?» — цинично удивлялась Кошелева. «Да не знаю я никаких тайн... —

мямлил Дмитрий Васильевич. — Не понимаю, с чего вы это взяли...» — «Как — с чего?! — заходила от праведного гнева бдительная инспекторша. — Вы в правительственных переговорах участвовали? Руководителю Советского Союза переводили?» — «Было дело, — разводил руками Сеземан. — Переводил, как же...» — «Значит, секретные сведения через вас проходили! — торжествовала Кошелева. — И вы эту информацию не можете не помнить!» — «Ну, когда всё это было... — грустно вздыхал Дмитрий Васильевич, давая инспекторше понять, что было это ещё тогда, когда она сама, возможно, и не родилась. — Сколько лет прошло...» — «Всё равно никуда не поедете! — резала садистка Кошелева. И мстительно добавляла: — И не надейтесь!» На том и расставались.

Однако капля, как известно, камень всё же точит — хотя и медленно, но неостановимо. Ещё через года два в советской бюрократической машине произошёл не то какой-то сбой, не то она просто устала противостоять настырным домогательствам Сеземана — и в сентябре 1976-го Дмитрий Васильевич получил вожделенную выездную визу для пребывания во Франции в течение двух месяцев. После чего собрал чемодан и отбыл в Париж. Станет ли для читателя этого эссе неожиданностью сообщение о том, что, едва оказавшись в городе, где прошло его детство, 54-летний советский гражданин Д. В. Сеземан на третий же день обратился в ближайший к месту его проживания полицейский комиссариат с просьбой к правительству Франции предоставить ему политическое убежище?

«Дважды эмигрант Советского Союза»

Это шуточное определение применительно в самому себе Дмитрий Васильевич использовал постоянно на протяжении всей второй половины своей неизменно долгой жизни.

Тридцать четыре года, прожитые Сеземаном во Франции после второй эмиграции, были наполнены неустанными трудами на привычной ему ниве — переводческой. С той лишь разницей, что теперь Дмитрий Васильевич переводил «в обратную сторону» — с русского на французский. В частности, российскую классическую литературу — например, беллетристику поэта А. С. Пушкина («Повести Белкина» и «Пиковую Даму»), причём перевёл Пушкина так, что после издания этих переводов коллеги по ремеслу, прирождённые французы, могли разве что развести руками от зависти и приподнять виртуальную шляпу — от неё же. Не чурался он и сочинений современных советских литераторов — таких, как, например, Андрей Битов.

Также в 1970–1990-е годы Сеземан много работал на зарубежном русскоязычном радио. В частности, плодотворно сотрудничал как журналист и публицист с русскими службами Международного французского радио (RFI) и американской радиостанции «Свобода». В своих передачах он рассказывал слушателям по ту сторону «железного занавеса» о малоизвестных среднестатистическому советскому читателю страницах истории российской литературы XX века, делился

воспоминаниями о собственных встречах со знаменитыми поэтами и беллетристами — Анной Ахматовой, Борисом Пастернаком и, конечно же, рассказывал о своём житье летом 1939 года на болшевской даче в одно время с Мариной Цветаевой и её семейством. Также Сеземан писал сам — иногда беллетристику, но большей частью очерки мемуарного характера, из которых со временем предполагал сделать полноценную книгу воспоминаний.

Претерпела изменения и его личная жизнь — Дмитрий Васильевич женился на французской журналистке Доминик Дютей, руководившей русской редакцией Международного французского радио, с которой он сотрудничал в качестве внештатного автора. Журналистка Дютей была известна всему тогдашнему «Русскому Парижу» в качестве француженки, говорящей по-русски так, что ни один прирождённый русскоговорящий человек, не знающий заранее, что она является иностранкой, разговаривая с ней, и мысли не мог допустить, что его язык является для этой женщины не родным, а приобретённым посредством изучения. А некоторым советским эмигрантам, считавшим себя причастными к литературе и тоже периодически выступавшим по западным «радиоголосам», вполне можно было у мадам Дютей брать уроки русского — им бы это явно пошло на пользу.

Эпилог, или «Исповедь инородца»

В мае 2001 года парижское издательство «Jean-Claude Lattès» выпустило книгу мемуаров Дмитрия Сеземана, которую он озаглавил «Les Confessions d'un métèque: 75 ans d'errance entre Paris et Moscou» (примерный перевод: «Исповедь инородца: 75 лет скитаний между Парижем и Москвой»).

Мемуары Сеземан писал на французском языке. Однако ничего против издания этой книги в переводе на русский, насколько известно не имел. За единственным исключением: название, как он постоянно говорил всем, кто его об этом спрашивал, должно быть другое. А именно: «Париж — Гулаг — Париж». Так, считал Сеземан, будет гораздо точнее и для читателей в России понятнее. Зная об этой его воле, а также о том, что мемуарная книга Дмитрия Васильевича до сих пор — два с лишним десятилетия спустя после её выхода в Париже — не переведена на русский и не издана в России, я посчитал возможным дать это название своему эссе про жизнь и судьбу этого во многих отношениях необыкновенного человека, которому 6 февраля 2022 года могло бы исполниться сто лет. Надеюсь, он не станет на меня за это обижаться.

Фотографии взяты из интернета